

ДРУЖЕСКОЕ ПИСЬМО 1830-Х ГОДОВ: ЗАГРАНИЧНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ Т.Н. ГРАНОВСКОГО

В статье рассматривается дружеское письмо второй половины 1830-х годов под пером Т.Н. Грановского. Показано, что, вопреки традиции, сложившейся у литераторов пушкинского круга, им разрабатывалась не только «буффонадная», но и исповедальная разновидность письма, а также гибридная – «буффонадно»-исповедальная, что было обусловлено как внешними причинами, так и особенностями личности Грановского.

Дружеское письмо, «буффонадное» письмо, исповедальное письмо, письмо-дневник, Т.Н. Грановский, Н.В. Станкевич, Я.М. Неверов, В.В. Григорьев.

The article deals with the friendly letter of the second half of the 1830th by T. N. Granovsky. It is shown that, contrary to the tradition, which was developed by writers of Pushkin's circle, he developed not only a "buffoonish", but also confessional kind of the letter, as well as hybrid – "buffoonish"-confessional, that was caused by both the external reasons, and features of Granovsky's personality.

Friendly letter, "buffoonish" letter, confessional letter, letter-diary, T.N. Granovsky, N.V. Stankievich, Y.M. Neverov, V.V. Grigoriev.

Введение

Дружеское письмо, начавшее складываться в России во второй половине XVIII в., достигло кульминации своего развития в пушкинскую эпоху, когда стало, по выражению Ю.Н. Тынянова, «литературным фактом» [12, с. 266], поскольку не только ложилось в основу художественных произведений, но и доводилось до такой степени совершенства, что полноправно входило в систему жанров. В самом начале XIX столетия еще исповедальное, уже с середины 1810-х годов письмо под пером В.А. Жуковского, П.А. Вяземского и других поэтов во главе с А.С. Пушкиным несет на себе печать «арзамасской буффонады», «галиматши» [2, с. 185]. «Парадоксальное соотношение, – замечала Л.Я. Гинзбург, – в дружеском письме, казалось бы, самом интимном роде словесности, <...> интимность оказывается запрещенной» [2, с. 187]. В эпистолярной происходит моделирование образов адресанта и адресата, а также формирование стиля, во многом по законам художественной литературы.

Основная часть

Тимофей Николаевич Грановский не принадлежал к занятым этими исканиями литераторам пушкинской эпохи ни по времени жизни (он родился в 1813 г.), ни по роду деятельности (в 1840-е и первой половине 1850-х гг. он профессор истории Московского университета). Правда, люди, знавшие его, отзывались о нем как о натуре в высшей степени поэтической [6, с. 54–55], [7, с. 592–593]. Его дружеская переписка 1830-х годов пришлась на период, непосредственно следующий за пушкинским: она велась с 1836 по 1839 г., когда будущий историк учился в Берлинском университете. В одном из писем от февраля 1837 г. Грановский с грустью откликнулся на гибель Пушкина. В послепушкинскую эпоху – во второй половине 1830-х годов – эпистолярный жанр под пером Н.В. Станкевича, А.И. Герцена,

В.Г. Белинского, Грановского и их современников переживает новый яркий этап своего развития, выступая не столько литературным жанром, сколько своеобразной литературно-философской формой дружеского общения, связывая участников молодежных объединений, прежде всего – литературно-философского кружка Станкевича.

Грановский, окончивший Петербургский университет, не был членом этого московского кружка, однако познакомился с его главой через Я.М. Неверова незадолго до отъезда за границу. Впоследствии, когда и Станкевич с Неверовым прибыли в Берлин, там образовался не просто кружок трех «соединенных друзей», как они себя называли, а нечто большее. Помимо Станкевича и Неверова, которым Грановский писал, когда их не было рядом, его корреспондентом был и друг по Петербургскому университету В.В. Григорьев. В письмах ко всем трем адресатам проявляется как индивидуальная эпистолярная манера молодого историка, раскрывающая его личность, так и общая атмосфера дружеской переписки второй половины 1830-х годов, в чем-то альтернативной, а в чем-то наследующей пушкинской.

В первый год своего – еще одинокого – пребывания в Берлине, с июня 1836 по июль 1837 г., Грановский мало писал. Основным его корреспондентом был Неверов. В письмах к нему молодой историк сосредоточен и сдержан. Он кратко характеризует уклад берлинской жизни, рассказывает о своих занятиях в университете и о досуге, посвященном посещению театра и чтению. Эти темы и впоследствии будут освещаться во всех письмах Грановского к друзьям, но освещаться всякий раз по-своему, в зависимости от состояния души адресанта и личности адресата. Письма к Неверову в значительной степени исповедальны. Грановский, по воспоминаниям близко знавших его, человек, ориентированный на духовные ценности, то и дело говорит другу о душе и сердце (и даже подписывается: «Душевно преданный

тебе...» [3, с. 277], «...душевно любящий тебя *Грановский*» [3, с. 276; курсив Грановского. – М.К.]. Он старается самостоятельно и снисходительно оценивать как лекции немецкой профессуры, так и спектакли и книги, наиболее строго относясь к самому себе («Не могу без грусти подумать о времени, которое я так бесплодно тратил в Петербурге. Я должен учиться тому, что знает иной ребенок» [3, с. 276], «...я стал очень ленив...» [3, с. 278]), но не впадая в отчаяние, сохраняя светлое внутреннее чувство. Характерно, что Грановский просит друга никому, кроме «посвященного» Григорьева, не показывать своих писем, слишком искренних: «...не имею <...> охоты быть всеобщим корреспондентом», «пишу без всякого приготовления все, что мне приходит в голову и в душу» [3, с. 274].

Послания Грановского к Станкевичу, к сожалению, не опубликованные и, по-видимому, не сохранившиеся, имели, скорее всего, еще более доверительный характер. Об этом можно судить по ответным письмам, изобилующим словами утешения тоскующему в одиночестве и не вполне довольному собой другу. «Буду отвечать тебе на твою исповедь...» [10, с. 229], – писал Станкевич. Слово «душа» в его корреспонденциях не просто столь же частотно, как и в эпистолярии Грановского, – оно помещено в органичный для себя христианский контекст, окружено отсылками к Евангелию, поминаниями, отнюдь не всуе, имени Божьего. По-видимому, доверительный тон переписки с Грановским в значительной степени был задан Станкевичем, влияние которого на себя молодой историк считал огромным и благотворным. В подобном – доверительном – тоне Станкевич общался и с другими своими корреспондентами, утверждая альтернативную пушкинской – исповедальную разновидность дружеского письма 1830-х годов. «Тогда царил, – замечал о кружковом общении эпохи Станкевича и Грановского М.О. Гершензон, – культ дружбы, который теперь показался бы сентиментальным и смешным; кто еще пишет теперь своему другу такие пространственные и такие интимные письма, какие писали друзьям Станкевич, Белинский, Огарев? <...> люди <...> по-женски страстно любили друг друга, поверяли друг другу интимнейшие тайны, взаимно исповедовались и глубоко, искренно верили один в другого» [1, с. 211–214]. Такая форма общения отвечала духовным потребностям Грановского.

При всем том год спустя характер его корреспонденций неизменно меняется: место исповедальности заступает «галиматья» и «буффонада», напоминающая арзамасскую. Это объяснимо рядом причин. Прежде всего – прибытием в Берлин летом 1837 г. Неверова, а осенью Станкевича. Оба рассеяли хандру своего товарища, и в основу быта «соединенных друзей» легли озорство, наклонность к взаимным дурачествам. Грановский впоследствии отзывался об этом периоде как об одном из счастливейших в своей жизни. Молодой задор, безудержная веселость не могли не отразиться в письмах. Почти все они к тому же были адресованы Григорьеву, по воспоминаниям которого, такой «буффонадный» стиль общения сложился у них еще до отъезда Грановского за гра-

ницу (в противовес господствовавшему в петербургском студенческом кружке серьезному тону педантов) и был для последнего, по его мнению, даже излишне органичен: пристрастие будущего историка к шуткам не раз обижало его друга.

Возобновляя летом 1837 г. общение с Григорьевым после достаточно продолжительной размолвки, Грановский пишет ему большое и серьезное письмо, в котором, по обыкновению, пытается объективно проанализировать ситуацию и разрешить конфликт («...мы оба были неправы: ты неосторожен, я глуп <...>. Прости мне» [5, с. 411]). Завершая во многом исповедальное и потому непростое послание, он с очевидным облегчением включает в последний абзац принципиально иное содержание, облеченное и в принципиально иную форму. Прежде нейтральное, письмо обретает нарочитую стилизованную двуплановость: «На днях пошли мы <...> гулять. Выходим на улицу; вдруг несколько указательных перстов и взоров удивления обратились разом на брюхо Неверова. Что бы тут такое было? Гляжу – что представилось изумленному оку? Отстегнутый бант. Несчастный забыл застегнуть штаны» [5, с. 413]. Архаичная лексика («персты», «взоры», «око») сочетается с разговорно-просторечной («штаны», «брюхо»), создавая особую речевую тональность дружеского письма, характерную и для эпистолярной пушкинской круга [см., напр.: 11, с. 82–84]. Но если Пушкин и его корреспонденты тем самым решали вопросы русского литературного языка, то в переписке Грановского это, с одной стороны, чисто комический прием, с другой – прием, утверждающий свободный стиль дружеского общения.

Во всех заграничных письмах Грановского к Григорьеву – с 1836 по 1839 гг. – установка на анекдот и смешение стилей остается устойчивой. В характеристиках, даваемых товарищам, часто преобладает грубость, очевидно, свидетельствующая о предельной короткости, установившейся между ними, и дающей Грановскому неограниченное право, как он хочет, аттестовать друзей. Получатель подобных писем, Григорьев, лично даже не знакомый со Станкевичем, таким образом, включался в круг избранных, признавался полноправным участником дружеской переписки. Неверов «так безвкусен, бестолков и глуп...» [4, с. 83], – сообщал Грановский. – Станкевич – «прегрубое животное! Никак не могу его приучить к деликатному обращению со мною» [4, с. 98], «...помнишь в “Тарасе Бульбе” жид, показывающего скверные свои панталоны? Очень сходны <...> панталоны и Станкевич – загаженные оба» [4, с. 91]. Смелость Грановского простирается и на оценки самого Григорьева: «Есть скверности на свете, но такой, как ты, нигде нет» [4, с. 90], «Забыл было сказать тебе, что ты животное <...>. Смотри, кинжалом я владею. <...>. Ей, Вася, эвнухом сделаю» [4, с. 87].

Нетрудно, впрочем, заметить, что грубость то и дело смягчается у Грановского то вполне добродушной шуткой, переводящей самую грубость в шуточный регистр, как в последнем случае, то ироничным противопоставлением, скажем, «животному» Станкевичу себя, требующего «деликатного обращения», что также обесценивает серьезность характеристики.

Иногда грубая оценка сочетается с нейтрализующей ее нарочито (хотя подчас и иронично) ласковой: «Забыв было сказать тебе, что ты животное <...>. Прощай, целую ручки и кончики пальцев» [там же], «Врешь, разбойник <...>. Прощай, сокровище мое» [4, с. 82]. В пределах одного письма обращения к Григорьеву могут колебаться в диапазоне: «любезный Григорьев», «болван», «душа моя» [4, с. 96–97]. В тех же письмах «соединенные друзья» именуется, как правило, по фамилиям, часто фигурирует образованная Грановским от фамилии Неверова «буффонадная» форма Нурка. Встречаются и достаточно грубые прозвища. Так, тот же Неверов, выступавший совместно с Григорьевым против германофильства Грановского, назван «плешивым орьянталистом» [4, с. 99]. Очевидно, все это должно было настроить адресата на игру и исключить возможность обиды на вольности, допущенные в обращении с ним.

Автор корреспонденций вписывает и себя в «буффонадный» мир, моделируя свой образ приблизительно по тем же правилам, которые применяет к образам друзей: «Винюват, душечка. Прости негодяя, пахабника» [4, с. 90]. Окарикурируя себя, Грановский в то же время и высветляет собственный образ: «На днях отправлю большое письмо, из которого ты ясно увидишь, какой ты злой, скверный человек и какой я ангел» [4, с. 84], «что ты осел – это давно известно всем христианам, что я умнейший человек – также все знают» [4, с. 97]. В том и другом случае моделирование образов себя и адресата, как правило, основывается на приеме антитезы, по принципу: «черный» – «белый». Однако и то, что стороны легко меняются местами, и неизменная утрированность характеристик, и облеченность их в шутовскую форму побуждают адресата воспринимать их не как серьезные, а как «буффонадные».

В системе антитезы одни из центральных – «истина – ложь», «ум – глупость». Как правило, утверждает, что Грановский умен и говорит правду, тогда как его друзья глупы и то и дело лгут. Но в системе взаимобратных координат «буффонадного» эпистолярия оба полюса потенциально легко меняются местами: границы между истиной и ложью, умом и глупостью оказываются проницаемы. Не удивительно, что появляются оксюморонные характеристики: «Глупый человек ты, Вася, хотя Господь и дал тебе умную голову» [4, с. 98]. Ключевым понятием «буффонадных» писем становится глупость, реализующая едва ли не весь потенциал своей семантики: «глупо» то, с чем Грановский не согласен (буддизм – «преглупая религия» [4, с. 86]), что, с его точки зрения, ошибочно («...душа моя требует, чтобы я разругал тебя за глупый, необдуманный поступок» [4, с. 98]). Но глупость становится еще и синонимом шутки, дурачества, самой «галиматши», в которой не нужно искать серьезного смысла.

Корреспонденции как бы приобретают второй план содержания, скрытый от непосвященных, но самими участниками переписки читаемый между строк. Так, при поверхностном взгляде на письмо Грановского к Григорьеву о том, как Неверов заболел холерой, можно подумать, что ситуация была очень несерьезной и вызвала к себе несерьезное же

отношение: «Прихожу третьего дня после обеда домой и что же вижу? Нурка лежит на постели, делает невыносимые гримасы и плачет. Я давно уже был сердит на него за всякие мерзости, тотчас представил ему, что у него холера и потому должно прибегнуть к особенному способу лечения. Он сдуру поверил. Досталось бедняжке от меня – правду говорит, что до гроба не забудет. Я ему так вздрал брюхо оттиранием, что он визжал от боли. У него даже расстроился рассудок – иначе бы он не написал к тебе глупостей <...>. Не верь ему, голубчик, врет. Боится нового оттирания» [4, с. 81]. Диаметрально противоположным образом ситуацию описывал в письме к Григорьеву сам Неверов: «Не знаю, как и рассказать тебе о моей благодарности к Грановскому. Его заботливости обязан я моим выздоровлением; он не отходил от моей постели, ухаживал за мною так, как только может ухаживать мать за дорогим сыном; его попечения не раз заставляли меня плакать. И как он боялся за меня, бедный! весь побледнел, руки дрожали, так что я беспокоился, не случилось бы чего с ним самим...» [цит. по: 6, с. 8]. Еще более подробно Неверов передал эту трогательную заботу, которой окружил его друг, в воспоминаниях, созданных после смерти Грановского [см.: 8, с. 743].

Поскольку в «буффонадном» послании нет соответствия между словами и традиционно ожидаемым от них смыслом, Грановский позволяет себе шутить и на тему смерти, смело проецируя ее на живых и здравствующих: «Бедный Посников, – говорил он об общем знакомом, – жаль его. Умереть в такие лета! А умрет, поверь мне, если правда то, что ты пишешь, – что он поумнел. Такие перемены всегда случаются перед смертью. Меня утешает мысль, что ты соврал. Посников, благородный малый, не переменится до гроба» [4, с. 86]. В перевернутом мире «галиматейного» письма благом оказывается смерть с предшествующим ей просветлением сознания – несчастьем же продолжение жизни неумного человека. Трагестирование смерти, хотя и по другим причинам, было характерно для «галиматейных» корреспонденций поэтов пушкинского круга во время эпидемии холеры [см., напр.: 9, с. 72–73].

К «галиматейным» корреспонденциям Грановского зачастую прикладывали руку Станкевич и Неверов, шутовски комментируя на полях отдельные его наблюдения и приписывая целые абзацы от себя, один за другим сменяя, осмеивая и перебивая друг друга, создавая, таким образом, коллективные дружеские письма, «соборные послания» [4, с. 87], как они их называли. При этом, вопреки эпистолярной традиции пушкинского круга, предполагавшей открытый характер переписки, Грановский настаивает на камерной адресности «буффонадных» писем, убедительно прося Григорьева никому их не показывать.

С весны по осень 1838 г., когда «соединенные друзья» были в разлуке: Грановский отбыл в Дрезден, Прагу и Вену для изучения славянской истории, – он пишет Станкевичу и Неверову практически каждый день, создавая своего рода письма-дневники. В них резко возрастает процент серьезного содержания, речь то и дело вновь заходит о душе. Гранов-

ский так скучал и хандрил, что, по собственному признанию, чуть не вернулся в Берлин. Его корреспонденции к друзьям не только часты, но и подробны: он рассказывает обо всем увиденном, прочувствованном и передуманном, уделяя внимание даже достопримечательностям и природе, – тому, чем прежде не интересовался («природа хороша, но человек все-таки занимательнее и лучше» [3, с. 302] – его позиция). Грановский очевидно испытывает потребность как можно более полно разделить все события своей жизни с товарищами. Существенно потесненная серьезностью содержания, «буффонада», однако, занимает весьма важное место и в этих письмах. По-видимому, она создавала иллюзию сохранения сложившегося образа жизни и стиля общения, по-прежнему соединяла друзей, оставаясь некой лишь им доступной тайнописью.

Выводы

Впитав в себя традиции эпистолярной культуры первой трети XIX века, письмо под пером молодого историка явилось очень свободной и личной формой дружеского общения, освоившего два противоположных жанровых варианта: «буффонадный» и исповедальный, одинаково близкие Грановскому. Именно поэтому у него оказался возможен их синтез. Переписка с тем или иным адресатом начала зиждится не столько на моделировании его образа (как, скажем, у Пушкина создавался образ ленивого пиита Дельвига, определяя характер диалога с ним), сколько условиями и задачами общения. Все персоналии «буффонадных» писем Грановского, включая самого адресанта, подчиняются законам одного и того же – «галиматейного» – мира, однако те же персоналии в исповедальных письмах кардинально меняются, обнаруживая душевную чуткость, способность к эмпатии. Словно вызывая к той или иной потенциальной коммуникативной возможности друзей, автор выбирал «буффонадный» или исповедальный тон переписки. Тем самым готовилась та свобода эпистолярного жанра, завязанная на личности пишущего, которую Грановскому и его современникам предстояло вкушать в 1840-е годы.

Литература

1. Гершензон М.О. История молодой России. М., 1908. 317 с.
2. Гинзбург Л.Я. «Застенчивость чувства». По поводу писем людей пушкинского круга // Красная книга культуры. М., 1987. С. 183–188.
3. Грановский Т.Н. Письма // Грановский Т.Н. Публичные чтения. Статьи. Письма. М., 2010. С. 272–431.
4. Грановский Т.Н. Письма к В.В. Григорьеву // Щукинский сборник. Вып. 10. М., 1912. С. 81–108.
5. Грановский Т.Н. Письмо к В.В. Григорьеву от 23 июля 1837 г. // Щукинский сборник. Вып. 6. М., 1907. С. 411–413.
6. Григорьев В.В. Т.Н. Грановский до его профессорства в Москве. II. Жизнь за границей // Русская беседа. 1856. IV. Отд. «Смесь». С. 1–57.
7. Кудрявцев П.Н. Детство и юность Т. Н. Грановского // Кудрявцев П.Н. Сочинения: в 3 т. Т. 2. М., 1887. С. 551–623.

8. Неверов Я.М. Тимофей Николаевич Грановский, профессор Московского университета. 1854–1856 гг. // Русская старина. 1880. Т. 27. № 4. С. 731–764.

9. Паперно И.А. Переписка Пушкина как целостный текст (май–октябрь 1831 г.) // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 420. *Studia metrica et poetica*. II. Tartu, 1977. С. 71–81.

10. Станкевич Н.В. Переписка // Анненков П.В. Николай Владимирович Станкевич: переписка его и биография, написанная П.В. Анненковым. Воронеж, 2013. С. 127–313.

11. Степанов Н.Л. Дружеское письмо начала XIX века // Степанов Н.Л. Поэты и прозаики. М., 1966. С. 66–90.

12. Тынянов Ю.Н. Литературный факт // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 255–270.

References

1. Gershenzon M.O. *Istoriia molodoy Rossii* [The story of a young Russian]. Moscow, 1908.
2. Ginzburg L.Ya. «Zastenchivost' chuvstva». Po povodu pisem liudey pushkinskogo kruga ["Shyness of feeling." With regard to the letters of people of Pushkin's circle]. *Krasnaia kniga kul'turyi* [The Red Book of Culture]. Moscow, 1987, pp. 183–188.
3. Granovskii T.N. *Pisma* [Letters]. *Granovskii T.N. PUBLICHNYE CHENIYA. STATI. PISMA* [TN Granovsky Public readings. Articles. Writing]. Moscow, 2010, pp. 272–431.
4. Granovskii T.N. *Pisma k V.V. Grigorevu* [Letters to Vladimir Grigoriev]. *Schukinskii sbornik* [Shchukin collection]. Moscow, 1912, Vol. 10, pp. 81–108.
5. Granovskii T.N. *Pismo k V.V. Grigorevu ot 23 iul'ia 1837 g.* [Letter to Vladimir Grigoriev of July 23, 1837]. *Schukinskii sbornik* [Shchukin collection]. Moscow, 1907. Vol. 6, pp. 411–413.
6. Grigorev V.V. *T.N. Granovskii do ego professorstva v Moskve. II. Zhizn za granitseiu* [T.N. Granovsky before his professorship in Moscow. II. Living abroad]. *Russkaia beseda* [Russian conversation], 1856, IV. Otd. "Smes", pp. 1–57.
7. Kudriavtsev P.N. *Detstvo i iunost' T.N. Granovskogo* [Childhood and adolescence of Granovsky TN]. *Kudriavtsev P.N. Sochineniia: V. 3 t.* [Kudryavtsev PN Works]. Moscow, 1887, T. 2, pp. 551–623.
8. Neverov Ia.M. *Timofey Nikolaevich Granovskii, professor Moskovskogo universiteta. 1854–1856 gg.* [Timofey Granovsky, a professor at Moscow University. 1854–1856 gg.] *Russkaia starina* [Russian olden time], 1880, T. 27, № 4, pp. 731–764.
9. Paperno I.A. *Pepiska Pushkina kak tselostnyi tekst (may – oktyabr 1831 g.)* [Correspondence of Pushkin as an integral text (May – October 1831)]. *Uchenye zapiski Tartuskogo gosudarstvennogo universiteta* [Scientific notes of Tartu State University]. V. 420. *Studia metrica et poetica*. II. Tartu, 1977, pp. 71–81.
10. Stankevich N.V. *Pepiska* [Correspondence]. *Annenkov P.V. Nikolai Vladimirovich Stankevich: perepiska ego i biografiia, napisannaia P.V. Annenkovym* [Annenkov PV Nikolai Stankevich: his correspondence and biography written by PV Annenkov]. Voronezh, 2013, pp. 127–313.
11. Stepanov N.L. *Druzheskoe pismo nachala XIX veka* [A friendly letter of the beginning of XIX century]. *Stepanov N.L. Poety i prozaiki* [Stepanov NL Poets and writers]. Moscow, 1966, pp. 66–90.
12. Tynianov Iu.N. *Literaturnyi fakt* [Literary fact]. *Poetika. Istoriia literatury. Kino* [Poetics. History of literature. Cinema]. Moscow, 1977, pp. 255–270.